

Наше вам кисточкой

Олег РЯБОВ
г. Нижний Новгород

рассказ

Сколько я повидал этих мастерских художников! Даже трудно представить. Был такой период у меня в жизни, когда каждый выход из дома — в кино, на концерт, на выставку, просто на прогулку — обязательно заканчивался в какой-нибудь мастерской. Там мы тусили, выпивали, ночевали, а иногда и зависали на несколько дней. И при всём желании владельцев сделать их необычными и уютными, все эти мастерские были как на одно лицо: самовары, прялки, гипсовые головы, иконы, манекены, пустые бутылки, банки, набитые окурками, и десятки, сотни картонов и холстов, залевкашенных, недописанных и неподписанных. И везде пахло красками.

Только мастерская Валерия Воронина отличалась от всех, отличалась тем, что в ней было неуютно. Оказываясь в ней, не покидало ощущение, что ты попал на помойку. Да и пахло у него в доме, его собственном доме, где на третьем этаже находилась его студия, помойкой. А в углах вместо привычных гипсовых отливок Зевса и Венеры Милосской валялись пачки старых заплесневелых книг, пустые грубо сколоченные ящики, диваны с невероятных размеров вылезшими наружу ржавыми пружинами или треснутый унитаз в сборе с трубой и сливным бачком. Продавая свою очередную работу посетителю или заказчику, Валерий всегда спрашивал:

- Чем пахнет?
- Помойкой! — чаще всего раздавалось в ответ.
- Значит, получилось, — радостно констатировал художник и добавлял, — наше вам кисточкой.
- Что это значит? — спрашивал заказчик.



— А это значит, что весь этот дом я построил своей кисточкой.

И это действительно было так.

Невероятная судьба Воронина складывалась чудно, так чудно, что про неё можно было написать роман. Да кто-нибудь, может, и напишет. Хотя и мне известно несколько эпизодов, о которых можно рассказать.

В бурные революционные годы девяностых мне пришлось стать организатором небольшой художественной выставки на нижегородской ярмарке, приуроченной к какому-то всероссийскому форуму. Тогда на эти форумы к нам на ярмарку слетались птицы очень высокого полёта и можно было здесь увидеть и Джона Мейджора, и Джорджа Сороса. И вот подкатывает ко мне как-то мужичонка, неряшливо одетый и уже в годах, и, тыча пальцем в работу Валерия Воронина, спрашивает:

— Кто это?

— Не знаю, — отвечаю я. — Мужик какой-то, наверное, уголовник.

На картине был изображён мужик в майке, весь в наколках, сидящий на унитазе, а вся стена сзади него разрисована всякими непорядочностями и исписана гадостями вроде «Слава КПСС». Роба у мужика страшная и красная, и руки у него уродливые и красные, и видно, как он тужится и как ему трудно.

— Я Саша Глезер, галерейщик. Слышал про такого? — говорит незнакомец. — Я вижу, что уголовник. Я спрашиваю: кто это написал?

— Валерий Воронин, — отвечаю я и соображаю, что передо мной человек, который сделал имена многим мировым знаменитостям.

Это он, Александр Глезер, один из организаторов «бульдозерной выставки», вывез за границу первые работы Оскара Рабина, Эрнста Неизвестного, Кабакова, Зверева и практически сделал им имена. Вот такие люди разгуливали тогда по коридорам нижегородской ярмарки. Я дал галерейщику телефон Валеры Воронина, и через год у того состоялась первая выставка в Америке. Так он стал востребованным и покупаемым художником, у которого работы улетали прямо с мольберта.

Хотя это не первая метаморфоза в жизни художника Воронина. Впервые его заметил ещё

совсем в юношеском возрасте академик Мильников на какой-то областной или зональной выставке где-то на севере.

— Беги, — сказал академик юному студенту художественного училища, увидев его натюрморт с рваными ботинками.

— Куда? — спросил у мастера Воронин.

— Из училища беги! Загубят они тебя, сломают.

И Валера Воронин побежал. Долго он бегал по нашей обширной стране, пока не проснулся в вытрезвителе села Большое Болдино. Да, в этом замечательном селе, замечательной мастерской нашего великого Поэта был когда-то вытрезвитель. И тёплым июньским утром снимала показания у не совсем протрезвевшего художника чудненькая девушка Валя, студентка юридического института, проходившая в Большом Болдино практику. Не устоял Валера: долго он дожидался у дверей вытрезвителя девушку Валу, долго мял свою кепку.

Кепка — жизненно важный реквизит художника Воронина. Он и гуляет в кепке, и ест в ней, и пишет. Изредка снимает кепку: когда садится на мокрую скамейку или ложится спать в незнакомом месте. Тогда он кладёт её под голову.

Дождался он тогда возле дверей вытрезвителя девушку Валу. Полюбили молодые люди друг друга, поженились, и остепенился Воронин, и осел. Вот такой счастливый был в Большом Болдино вытрезвитель. А потом уже он построил свой дом, когда начал продавать удачно свои картины. Всем тогда хотелось израненную, изнасилованную Родину запомнить, и Валера её запечатлел: бомжи, проститутки, нищие, пьяницы. Ну, ещё любил он писать старые дома, совсем уже развалюхи с сараями и сортирами во дворе.

Всё бы ничего, только пахло от картин Валерия Воронина помойкой. Это и покупатели замечали, а художник гордился этим: значит, получилось!

А однажды получил он заказ от своей меценатши Наташи написать букет красных пионов. Была, была у него меценатша — солидная дама, уже в годах, состоятельная, из тех, кто прикупается в бутиках на Елисейских полях.

И друзья, и подруги у неё были все под стать: насчёт денег не стеснялись. А букет пионов нужен был Наташе в подарок подруге, у которой дочь в девках засиделась. Есть такая примета — пионы на стенку над кроватью надо повесить, чтобы замуж вышла.

Купил на базаре Воронин десяток красных шикарных пионов, поставил в вазу, и получился прекрасный натюрморт. И всех делов-то — три часа. Позвонил Наташе. Та приехала, посмотрела, всё ей понравилось, деньги отдала и сказала, что заберёт, когда холст высохнет.

Через три дня Валера сам картину упаковал и повёз её заказчице по адресу. Наташа жила на другом конце города в особнячке нехилом: с бассейном, бильярдом, прудом, гостевыми домиками. Занёс мастер картину в гостиную, распаковал, поставил на специальный столик вроде ломберного. Стала Наташа разглядывать работу: то подойдёт, то сбоку посмотрит, а потом вдруг как глянет на Воронина и говорит:

— Подойди понюхай!

— А чего нюхать-то? — спрашивает Воронин.

— Ты понюхай, понюхай — помойкой пахнет.

— Какой помойкой? Это краска не высохла.

— Какая краска? Ты понюхай, говорю. Как я такую картину молодой девушке подарю?

Подошёл Воронин к картине, нагнулся, принюхался и почувствовал, что от картины шёл вполне отчётливый запах кислой-перекислой самой деревенской помойки, куда мыльную воду да картофельные очистки выбрасывают. Такой отчётливый запах — никакой не краской, а помойкой.

Это был кошмарный и длительный период мучений Воронина. Он писал всё лето и осень, писал сирень и подсолнухи, георгины и астры: как только краски холста высыхали, от картин пахло помойкой. Он перестал писать у себя в студии на третьем этаже, перебрался в гостиную на первый — результат тот же.

В ноябре он работать бросил и запил, чего с ним не случилось уже много лет. Он болтался по друзьям-художникам, ночевал в их мастерских, и внутри у него было полное опустошение, и не было разочарования, и не думалось даже о работе. Сколько это могло продолжаться — непонятно, если бы не попал он од-

нажды в новую мастерскую, которую дали молодому художнику, только что выполнившему важный городской заказ. Высокие пятиметровые потолки, широкие большие окна, белые стены и простор — никаких безделушек и мусора. Воронин удивился, и его осенило.

Всю зиму он делал ремонт в своей мастерской: вытащил на свалку весь хлам, положил на пол новый ламинат, выбелил стены и потолки, развесил новые бра для подсветки. Позвонил он мне в апреле:

— Приезжай на новоселье.

Я никогда в жизни не видел такой мастерской: светло-лимонные полы, белоснежные стены и потолок, новый стеллаж с двумя десятками чистых холстов на подрамниках, два мольберта, три стола и три стула. Я стоял и молчал, Воронин тоже долго молчал, пока не сказал:

— Пойдём погуляем в лес. Подумаем о будущем.

Лес начинался сразу за посёлком, в котором проживал мой друг-художник. Был конец апреля, птицы пели, земля была ещё сырая, и в ложбинах лежал снег. Я подозревал, что мой друг повёл меня в лес не случайно — было видно, что он что-то высматривает. И действительно — на симпатичной лужайке он увидел то, что искал. Это были подснежники, синие, пушистые подснежники, которых было много.

— Вот, собирай! — сказал он мне, и сам нагнулся и как-то спешно стал рвать цветы, пока не образовалась у него целая охапка.

Дома он засунул свой букет в большую фарфоровую полоскательницу от кузнецовского старинного сервиза и начал работать. Я сидел рядом и наблюдал за ним: Валера работал с какой-то жадностью, и в то же время ничего в нём не изменилось, в манере работы. Только когда я захотел закурить, он сказал мне как-то резко: «Выйди, а то табаком будет пахнуть». Когда я вернулся, мастер закончил писать букет и, лукаво посмотрев на меня, попросил:

— Понюхай — подснежниками пахнет?

— Ты что — дурак, что ли? Подснежники не пахнут.

— А ты понюхай.

И я, как тот дурак, поднёс свой нос к холсту

и понюхал — пахло красками и какой-то свежестью. Отстранившись от этюда на метр, я ощутил пушистость этого первого синего весеннего безумия.

— Валера, пахнут они красками. Свежими красками.

— Что?

— Свежими красками. Вот высохнет холст — понюхаем ещё.

— Да нет. Это мои старые краски провоняли помойкой и старая палитра, на которой я их смешивал, провоняла. А я не мог понять — что так воняет. Я же теперь всё новое купил.

В следующий раз я приехал к Воронину в мае. Было тепло. В его доме окна были раскрыты настежь. Вся гостиная моего художника была заставлена букетиками с ландышами. И они пахли просто оглушительно. Валера повёл меня в мастерскую на третий этаж. Там тоже красовались в вазочках и стаканах ландыши. На полу стопкой и в ряд стояли несколько этюдов с этими замечательными майскими цветами. Художник поднял один из холстов и, поставив его на мольберт, сказал:

— Я тебе его дарю. Только сначала понюхай.

— Зачем? Я и так возьму. Спасибо.

— Нет-нет, понюхай.

Я наклонился к картине и отчётливо почувствовал запах ландыша. Ещё мне показалось, что я слышу лёгкий волшебный звон. Мне подумалось, что я схожу с ума или меня кто-то разыгрывает.

— Ну что? Пахнут?

— Валера, пахнут!

— А вы думали, что я не смогу?

— Что ты, Валера! Я знал, что ты гений, — я говорил, но ничего не понимал. У меня даже голова закружилась от напряжения. Я не понимал, откуда этот запах и звон — явно не от букетиков, которые стояли вокруг.

— То-то же — гений. Просто я в растворитель добавил Валькиных духов «Серебристый ландыш».



Играли в больнице. В кабинете профессора Олега Хорева. На двери кабинета была закреплена строгая табличка «Зав. кафедрой госпитальной хирургии, дмн, профессор Олег Леонтьевич Хорев».

У нас была вполне устоявшаяся компания, и мы играли в преферанс пару раз в месяц у кого-нибудь дома по очереди. Хозяин, как правило, накрывал несложный стол, обычно это была бутылка коньяка и легкая закуска, иногда к коньяку прибавлялась бутылка водки, но это не всегда.

В тот вечер, о котором я хочу рассказать, принимающей стороной должен был выступать я, но оказался по пустяковому случаю в больнице: что-то не нравилось в моём организме моему другу профессору Хореву. Болтался я по больничным коридорам уже неделю, сдавая анализы, посещая какие-то процедуры, но в целом не зная, куда себя приткнуть, пока доктор медицинских наук не сообщил мне, что вечером будут гости.

Уютно было у Олега Хорева в кабинете: помимо негатоскопа, стеклянных шкафов с инструментами, трубками и прочим медицинским хозяйством, там были холодильник, телевизор, печка СВЧ, чайник, диваны. Отдельного внимания заслуживал шкафчик-горка, в котором стояли призы, сувениры, грамоты. Но мы знали, что закрытая и запертая на ключ нижняя часть этого чудо-шкафчика

буквально забита джинами, виски и всякого рода невиданными коньяками, которые в изобилии дарятся благодарными пациентами своим врачам. Профессор был радушным хозяином, и мы, посетители его кабинета, чувствовали себя здесь очень даже комфортно.

Олег Леонтьевич работал во «второй градской больнице» более тридцати лет, все эти годы он был практикующим хирургом, что делало его главнее главврача. А его отзывчивость и то, что почти все медики города у него когда-то учились, сказались на том, что профессор Хорев стал как бы главврачом всего города. Мало кто мог ему отказать в какой-то профессиональной просьбе, зная, что он не отказывается ассистировать во всех больницах и всем хирургам. Даже самому академику Чазову из «четвёртого управления» приходилось к нему обращаться.

Как-то так получилось, что и два других моих партнёра по преферансу были людьми, связанными с медициной. Гриша Собакин был завкафедрой физкультуры в мединституте, доцент, здоровяк, мастер спорта, да ещё и тренер студенческой баскетбольной команды. Он знал всех видных спортсменов и тренеров города и был в курсе всех спортивных сплетен. Говорил он негромко, но специфическим раскатистым басом, жестикулируя руками, и казался очень добродушным человеком, что часто бывает с людьми крупными и сильными.

Третьим партнёром был Иосиф Лурье с окладистой бородой, большим животом, самый молодой из нас, лет под пятьдесят, но он уже страдал одышкой. Волею судьбы Лурье превратился из директора школы в хозяина довольно большой сети городских аптек, и это давало ему мнимое право разговаривать со всеми чуть-чуть покровительственно. Кроме того, он непонятным образом вошёл ещё и в какую-то мифическую международную гильдию аптекарей, и любое необходимое позарез лекарство из Австралии или Америки, Китая или Израиля оказывалось у него в руках через два, максимум три дня.

В тот день, о котором, в общем-то, и идёт мой рассказ, мы собрались у Олега Леонтьевича в кабинете без опоздания — в семь часов. Проходили «игрули» через приёмный покой, где па-

ролем служила сказанная негромко, но не допускавшая возражений серьёзная фраза: «Мне назначил профессор Хорев». Бывало, и я её произносил. Потом сквозь кафельный белый пустынный коридор полуподвала — и на второй этаж. Профессор готовил стол: резал лимончик, открывал шпроты, выставлял коньяк.

— Кто, может, посолиднее хочет перекусить — у меня остался гороховый суп с больничного обеда, а ещё «котхлеты» и пироги с рыбой.

— Олег, хватит возиться! — это Гриша. Он такой одновременно и мягкий, и резкий. — Давай выпьем да сядем работать. Мы ведь все из дома приехали — не голодные. Да и наш больной, я думаю, поужинал пирогом с рыбой. Сыграем пулю — потом перекусим.

— А ты, Гриша, за всех не отвечай, — откликнулся Иосиф. — Я вот не против котлет. Хотя с коньяком вроде бы они не покатыт, а может, больничные-то — самое оно. Ты, Гриша, ответь вот на какой вопрос: в карты играют по всей стране, а почему в разных слоях в разные игры? В тюрьме — в очко и в свару, старые пенсионерки — в козла, а в нашем кругу — преферанс?

— Ну, это, Ёся, очень легко! Играть в очко и свару — ума много не надо, зато нужен фарт! А уголовники люди сами фартовые и фартовых уважают. Потом, в этих играх кураж есть — можно сразу сорвать куш, а не тянуть kota за хвост. Помнишь, в детском фильме про лампу Аладдина чёрный маг обращается к шахматистам: «О игроки в мудрейшую из игр после игры в кости...» Это же надо быть господом Богом, чтобы играть в кости и выигрывать! А вот спортивными играми считаются только бридж и подкидной дурак. Я слышал, что Анатолий Карпов играет в дурака и считает, что эта игра очень даже интеллектуальная.

— А преферанс?

— Ну, преферанс — это игра еврейско-интеллигентская!

— Гриша! Я же просил! Ну сколько можно! — воскликнул профессор.

— А что? Я сам наполовину еврей и имею право! Правильно, Иосиф?

— Конечно, правильно! Конечно, еврейско-интеллигентская. А почему же ты, Гриша, вчера ездил к Семёнычу на базу «Динамо» играть в «петушка»?

— А «петушок» и «бура» — это игры промежуточные: и интеллектуальные, и азартные. И в них играют люди определённого социального слоя. Вообще, по карточным играм определяется статус человека в обществе. Вот мой друг Женя Галкин написал книгу «Пушкин — картёжник». Там всё хорошо объясняется.

— Видел я эту книжечку — там всё очень поверхностно. По-моему, он не читал Лотмана. У Юрия Лотмана в «Беседах о русской культуре» разобраны очень подробно основные атрибуты дворянского поведения, и игра в карты — один из признаков хорошего тона или воспитания.

Я уже разлиновал листок для игры, поточил карандаши, и мы с Олегом Леонтьевичем стояли с наполненными рюмками над нашими эрудитами в ожидании завершения их высокоинтеллектуальной беседы. Она, беседа, действительно очень быстро свернулась, и мы уселись работать.

Иосиф и я урили, форточка была открыта, и, кроме морозного воздуха, через неё к нам долетали ещё и редкие тревожные звуки сирен скорой помощи. Гриша Собакин постоянно требовал, чтобы Хорев налил ему штрафную, а профессор регулярно, так — раз в полчаса, отвечал на какие-то звонки, поясняя своим абонентам, к кому надо обратиться, или назначая время для консультаций. Игра тянулась ни шатко ни валко, и мы уже начали вторую пулю, когда раздался звонок по внутреннему телефону, и Олег, подойдя к рабочему столу, снял трубку и сделал нам знак, чтобы мы помолчали.

Мы видели, как на наших глазах лицо Олега изменилось: цвет его стал пепельно-серым, в один тон с торчащими ёжиком седыми волосами, губы стянулись в ниточку, а глаза превратились в щёлки. «Она уже в приёмном покое? Кто дежурный хирург? Где он? Кто ещё в больнице? Сходите в ординаторскую и попросите Володю зайти ко мне в кабинет, срочно! Готовьте операционную и пошлите за Машей из второй хирургии».

Олег Леонтьевич повернулся к нам и совершенно чужим голосом объявил:

— Мужики, я вам всё потом объясню. Сейчас придёт мой ученик, хирург Володя Ливанов,

он сегодня дежурит, но я его попрошу поиграть с вами за меня с полчаса. То, что вы сейчас что-то слышали и ничего не поняли, забудьте на какое-то время, я вас очень прошу. Я вам всё объясню потом, потом.

В этот момент в дверь постучали. Профессор очень радушно встретил молодого человека лет тридцати в полной врачебной униформе: белые штаны, глухой белый халат и беленькая шапочка.

— Володя, у меня к тебе неожиданная и, может быть, неприличная просьба. Ко мне сейчас пришли знакомые, и мне надо их проконсультировать в приёмном покое. А может, даже и осмотреть. Поиграй за меня с моими друзьями с полчаса. Ты ведь играешь в преферанс — мне рассказывали. Если проиграешь — не взыщу, а выиграешь — с меня причтётся. Или как это правильнее сказать... С моими друзьями тебя не надо знакомить?

— Олег, перестань. Мы хорошо знаем Володю Ливанова. Володя, а я когда-то часто общался с твоей мамой. Мы бывали в одной компании. Привет ей от Гриши Собакина.

— Ну, так я побежал, — обратился к нам профессор, — коньяк без меня не пить. Для тебя, Собакин, в чайнике спирт, разведённый с глюкозой, как ты привык.

Володя тем временем изучил пулю и без энтузиазма заметил:

— Олег Леонтьевич, а у вас тут дела совсем аховые: проигрываете вистов с пятьсот!

— Володя, а ты постарайся. — И очень тихо медленно добавил: — Обещаю, что я тоже постараюсь.

Профессор ушел, а мы остались. Игра пошла как-то неинтересно, разговор не клеился — ощущалось какое-то напряжение, но не от того, что в компании оказался посторонний человек: все чего-то ожидали. Гриша Собакин пытался пару раз взбодриться и наливал из чайника. Мы понемножку выпивали, но молодой дежурный хирург нас не поддерживал. Более того — он каждый раз порывался позвонить в приёмный покой, и каждый раз мы его удерживали.

Олег Леонтьевич отсутствовал больше часа. Он вернулся заметно возбуждённый и порозовевший. Было впечатление, что он выпил чис-

того спирта и не закусил. Эйфория профессора неожиданно передалась и мне: я почувствовал, что произошло что-то важное и хорошее, пока что нам не ведомое. Волнение явно присутствовало в старом хирурге в тот момент, когда он уходил, но теперь оно сменило отрицательный знак на положительный.

— Ну, как наши дела, Володя? — сказал он, потирая руки.

— Отыграл я вам вистов двести. А ваши дела как, удачно?

— Да, вроде всё будет хорошо. Сейчас иди в реанимацию, тебя там ждут.

— А что случилось?

— Там узнаешь!

Мы все попрощались с Володей и пожелали спокойного дежурства. Не торопясь, но слегка озабоченно он покинул кабинет.

Профессор же Хорев с улыбочкой уселся за свой рабочий стол, выдвинул ящик и достал оттуда плоскую фляжечку из нержавеющей стали.

— Сейчас я вас угощу.

— Олег, не тяни кота за хвост — говори, что случилось и куда ты так спешил, зачем убежал?

— взорвался Гриша своим басом.

— Потерпите — выпью и скажу, — профессор медленно налил себе в крышечку чего-то из своей фляжки и опрокинул в рот и так же медленно произнёс: — Я сейчас оперировал Воло-

дину маму. Вы все её хорошо знаете: Мария Ливанова, она народная артистка, играет в драмтеатре. Возвращалась сегодня одна после спектакля домой, и её сбила машина. Какая-то пьяная сволочь... Сломаны четыре ребра слева — как раз в проекции селезёнки, гемоторакс, тупая травма живота, разрыв селезёнки, травматический шок, пришлось делать спленэктомию: удалять селезёнку, большая кровопотеря — литра два с половиной. Кровь из полости черпаком собирал на реинфузию. Хорошо, что пострадавшую быстро доставили — близко... Конечно, ничего сложного, Володя мог и сам справиться, он опытный хирург, но я почему-то испугался за него. У меня в жизни был всего один случай, когда я не смог сделать операцию. Это был близкий мне человек. Меня тогда давила, преследовала мысль, что мы теряем девочку, что она уходит. Тогда меня выручили, подменили, и всё обошлось. А сегодня я испугался за Володю. Ну и ладушки.

□

Олег Алексеевич РЯБОВ

родился в 1948 г. в Горьком.

Окончил политехнический институт по специальности «радиоинженер».

Впервые стихи были опубликованы в газете «Ухта» Коми АССР в 1968 году.

Первая книга, повесть о войне, «Письма отца» вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1988 году.

С тех пор издано одиннадцать книг стихов и прозы.

Печатался в журналах «Нева», «Всерусский собор», «Молодая гвардия», «Сельская молодёжь», «Кириллица».

Лауреат конкурса им. В. Шукшина «Светлые души» в г. Вологде.

С 2002 года член Союза писателей России.

Живёт в Нижнем Новгороде.

